

Н. Н. Запольская ГРАММАТИКА И СУБГРАММАТИКА
СЛАВЯНСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЯЗЫКОВ
(XVI–XVIII вв.):
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НОРМ

1. Типы норм. Движение лингвистики от понимания языка как функциональной системы знаков к пониманию языка как особой динамической данности, присущей человеку, предстает как движение от этнолингвоцентризма к антрополингвоцентризму. Интерес человека к самому человеку актуализирует понятие «языкового поведения», которое отражает мнемонический и операциональный, интуитивный и рефлексивный процессы взаимодействия человека с языком. В свете антропоцентрических научных воззрений *норма* предстает как *результат лингвистической рефлексии авторитетных носителей языка, содержанием которой является выбор языковых элементов в позициях потенциальной вариативности*. Необходимость нормы возникает при нарушении «прозрачности» языка, обусловленной формальной или формально-семантической избыточностью и недостаточностью. Позиции потенциальной вариативности, т.е. *позиции выбора*, позволяют решать проблемы избыточности/недостаточности, при этом позиции, в которых решается только одна проблема, являются *мономормативными* в отличие от *полиноммативных* позиций, в которых могут быть решены разные проблемы. Процедура выбора элементов в отдельной позиции заключается в действии механизмов *унификации, дифференциации* или *мотивированной вариативности*. Объем выбора элементов задает *состав норм*, а цели и задачи выбора определяют *характер норм*.

Обращение носителей языка потенциально ко всем позициям выбора, возможным в рамках осмысляемого литературного языка, приводит к созданию *формационных норм* [Едличка 1988: 140]. Цель выбора языковых элементов состоит либо в исправлении функционирующего литературного языка, либо в создании нового литературного языка, что определяет *корректирующий* или *креативный характер*

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований ОИФН РАН «Русская культура в мировой истории» по проекту «Русская книжно-языковая культура XIV–XVII вв.: типология текстов, языковых норм и книжно-языковой рефлексии».

норм. В зависимости от конкретных задач выбора нормы оказываются *функционально (генетически) мотивированными* или *немотивированными*. В ситуации, когда носители языка обращаются к литературному языку как к отдельной данности, решая задачу языковой «правильности», выбираемые ими элементы становятся показателями «правильности» независимо от функциональных и генетических параметров. Рассмотрение литературного языка в контексте других литературных языков или в его отношении к языку повседневного общения, а также рассмотрение литературного языка в динамике приводит к тому, что идея «правильности» осложняется или заменяется установками на «чистоту», «понятность» или «архаизацию/новизну» литературного языка. Выбираемые элементы при этом получают функциональную или генетическую мотивацию, т. е. оцениваются как «свои//чужие», «книжные//некнижные», «старые//новые». Реализуясь в конкретном времени и в конкретном пространстве, нормы обладают и разными *признаками*, т. е. разной *степенью стабильности и распространенности*.

Обращение носителей языка уже к отобранному языковому материалу, т. е. расширение или сужение его границ с целью культурно-идеологической спецификации отдельных языковых элементов, приводит к созданию норм, которые могут быть названы *делIMITATивными нормами*. В процессе создания делимитативных норм носители языка учитывают императивы культуры, которые предписывают языку либо специфическую семантику, либо специфическую сферу употребления, что задает различие *идеосемантических* и *идеофункциональных норм*. Идеосемантические нормы возникают в результате наложения на исходную языковую семантику дополнительной, культурно переменной семантики, например, в результате рассмотрения элементов в рамках оппозиции «сакральное//профанное». Идеофункциональные нормы предполагают наложение на потенциально полифункциональные языковые элементы определенной культурно переменной функциональной обязанности, например, рассмотрение элементов в рамках оппозиций «поэтическое//прозаическое» или «высокое//низкое». Соответственно, именно делимитативные нормы демонстрируют своеобразное «языковое моделирование культурных ценностей» [Топоров 1995: 432]. Позиции, в которых происходит пересечение формационных и делимитативных норм, образуют *перекрестки норм*, задающие кульминацию лингвистической рефлексии.

Базовыми формационными и делимитативными нормами являются нормы морфологические, которые формируют *нормативную грамматику* и *субграмматику* языка. Выбор элементов осуществляется

либо на уровне грамматических категорий при решении проблем формально-семантической избыточности/недостаточности, либо на уровне формантов при решении проблем формальной избыточности/недостаточности.

Динамика норм, обусловленная, с одной стороны, системными изменениями языка, а с другой стороны, нормализаторскими установками носителей языка, предстает как процесс активного реагирования носителей языка на рефлексивные опыты друг друга, поскольку мысль, обращенная на язык, будучи «гуманитарной мыслью», всегда «рождается как мысль о чужих мыслях» [Бахтин 1986: 297]. Содержанием процесса *культурно-языкового реплицирования* являются два типа изменений — *смена норм*, т.е. изменения в составе формационных и делимитативных норм, и *сдвиг норм*, т.е. переход формационных норм в делимитативные.

Нормы языка, отвечающие на вопрос, какие элементы допустимы в литературном языке, следует отличать от *норм употребления языка*, отвечающих на вопрос, как должны употребляться языковые элементы. Своеобразным «нормативным пограничьем» являются идеофункциональные нормы, отвечающие на оба вопроса. В зависимости от характера реализации языка выделяются *коммуникативные нормы*, регулирующие употребление элементов в соответствии с ситуативно-коммуникативными стратегиями, и *текстовые нормы*, регулирующие употребление элементов в соответствии со структурно-функциональным статусом текста (ср.: [Едличка 1988: 135–148]).

Нормы языка и нормы употребления языка подвергаются кодификации, «осознаваемой и принимаемой в определенную эпоху данным языковым коллективом как набор обязательных правил» [Там же: 66]. *Аналитический тип кодификации* задает нормы эксплицитно, на уровне метатекстов — грамматик, словарей, поэтик и риторик, а *синтетический тип кодификации* представляет нормы имплицитно, на уровне текстов-образцов (см.: [Там же: 70]; ср.: [Живов 2004: 44]). Тип кодификации влияет на *тип освоения* норм и тем самым на соотношение *декларативного и процедурного знания норм*.

Характер проведения выработанных и кодифицированных норм в языковую практику определяется нормативной приобщенностью носителей языка и статусом бытующих текстов. Носители языка, вырабатывающие, кодифицирующие или активно реализующие нормы, могут быть названы *носителями нормы* и противопоставлены *пользователям нормы*, осваивающим и пассивно реализующим нормы, а также *пользователям узуса*, обладающим лишь определенными навы-

ками. Различия в нормативном статусе текстов выражаются в том, что одни жанры должны демонстрировать «дисциплинирующую принудительность» [Аверинцев 1996: 11] норм, а другие могут представлять только привычность узуса.

Характер норм, характер кодификации, освоения и реализации норм задаются типом и вариантом культуры, а также конкретной культурно-исторической ситуацией, поскольку *норма*, будучи результатом рефлексии, порожденной в определенное время и в определенном пространстве, является *категорией исторической*.

Для исследования нормализаторской рефлексии представляется необходимым использовать особую *технику выявления норм*, включающую следующие операции:

- установление целей и задач лингвистической рефлексии и тем самым установление характера норм,
- выделение из метатекстового и текстового пространства рассматриваемой эпохи «сильных источников», т.е. метатекстов и текстов, созданных носителями норм,
- определение позиций выбора, задающих формационные и делимитативные нормы,
- реконструкция процедуры выбора при создании формационных норм в мононормативных и в полинормативных позициях,
- реконструкция процедуры выбора при создании делимитативных норм в позициях, являющих собой перекресток норм,
- рассмотрение норм в динамике, т.е. выявление позиций смены норм и сдвига норм.

При этом исследование литературно-языковых норм конкретного исторического периода может включать разный состав операций, а также может носить «полевой» или «точечный» характер, т.е. учитывать все или некоторые релевантные позиции выбора.

В настоящей работе техника выявления норм в «точечном» варианте применяется для изучения славянской нормализаторской рефлексии XVI–XVIII вв.

2.0. Формационные нормы церковнославянского языка XVI–XVIII вв. В конце XVI — начале XVIII в. в славянских культурно-языковых пространствах лингвистическая рефлексия, имевшая *корректирующий характер*, была обращена на церковнославянский язык, однако парадигмы рефлексии различались, поскольку отражали разные идеологемы.

В пространстве *Slavia Orthodoxa* на протяжении XVII в. идея православного изоляционизма сменялась идеей православного универса-

лизма, развившейся под влиянием культурно-языкового пограничья, при этом выражением разных идеологем являлся церковнославянский язык, понимаемый либо как «свой», либо как «общий» литургический и литературный язык православных славян. Лингвистическая мысль была направлена на поддержание языковой «правильности», которая не актуализировала функциональные и генетические параметры выбираемых элементов. Нормализаторская рефлексия получила выражение в грамматических сочинениях Юго-Западной и Московской Руси, составляющих цепочку конкурирующих кодификаторских реплик:

Грамматика Зизания 1596 г. *Грамматика словенска* (Зизаний 1596, далее ГЗ) < анонимный трактат *Книга гл҃мага гр҃матїка по ѡзыкъ словѣнскѣ*, написанный в Московской Руси около 1620 г. и содержащий критику норм, которые предлагал лаврѣнтїй зизанїй во своей гр҃мотїцѣ, а также связанный с ним трактат *Книга гл҃мага вѣквы гр҃мотїчнаго оу҃чѣнїа* (Грамматический сборник 2002, далее Кгг, Кгб);

Грамматика Смотрицкого 1619 г. *Грамматїки Славѣнскаѣ правїлноѣ Вѣн҃тагма* (Смотрицкий 1619, далее ГС) < московская редакция грамматики Смотрицкого, подготовленная Роговым и Наседкой, *Грамматика* 1648 г. (Грамматика 1648, далее Г 1648) < грамматические сочинения Поликарпова — *Грамматїка* 1721 г. (Грамматика 1721, далее Г 1721), связанный с ней рукописный трактат *Художество грамматїческое*, а также рукописный трактат 1725 г. *Технологїа то есть художное советствованїе ѡ грамматїческоѣм художествѣ...* (Поликарпов 2000, далее ГПх, ГПт).

Особый интерес представляет ранее неизвестная анонимная рукописная грамматика 30-х гг. XVII в. — Грамматїка доброг҃лн҃ваго и пространнаго словенского ѡзыка (далее ГА), автор которой, нѣбравѣ ѡ многиѣ воедино совокупнѣвъ, составил кнїгѣ, гл҃емѣю гр҃матикѣ [ГА: л. 1 об.], явившуюся репликой одновременно и на грамматику Зизания, и на грамматику Смотрицкого¹.

В культурно-языковом пространстве *Slavia Latina* реализовалась концепция христианского универсализма, в рамках которой актуализировалась идея возвращения славян к единству по вере посредством

¹ Автору статьи удалось обнаружить грамматику в рукописном отделе ГИМ в составе сборника XVII в.: Син. 734, 4^о, русская скоропись разных рук, 277 л., текст грамматики содержится на л. 1–102; водяные знаки — кувшин под полумесяцем с литерами N/FT на тулове, кувшин под полумесяцем с литерами IPO; 1631–1633 гг. [Дианова 1989: № 157, 158, 161]; в настоящее время осуществляется подготовка грамматики к научному изданию.

конфессионального подчинения греческого мира латинскому. Мотивированная данной идеей лингвистическая рефлексия была обращена на церковнославянский язык как изначально общий славянский литургический и литературный язык для достижения не только его «правильности», но также «чистоты» и «понятности» для всех славян, в силу чего выбираемые элементы оценивались с точки зрения происхождения и употребления. Выразителем идеи единения славян по вере посредством единения по языку стал Крижанич, написавший лингвистические сочинения *Объяснѣнїе вѣводно о писмѣ Словѣнском* 1660–1661 г. (Крижанич 1891, далее КОБ.) и *Грамматично изказанїе о в рѣском језикѣ* 1666 г. (Крижанич 1859, далее КГИ), которые явились результатом «исправления» грамматики Смотрицкого 1619 г. [Запольская 2003: 97–148, 183–212].

Представления книжников о церковнославянском языке наиболее последовательно реализовались при выработке и кодификации именных норм. Особое напряжение лингвистической мысли проявилось при рассмотрении книжниками имен мужского рода, поскольку в рамках данных парадигм решались проблемы и омонимии, и синонимии, а также проблемы семантической и функциональной спецификации.

2.1. Функционально и генетически немотивированные нормы

2.1.1. Проблема омонимии. Характерная для пространства *Slavia Orthodoxa* идея поддержания «правильности» церковнославянского (*сло/авенскаго*) языка предполагала решение проблем формальной недостаточности/избыточности. В конфессиональной культуре особую важность приобретал вопрос снятия омонимии, поскольку слова и формы в императивных текстах культуры, по которым созидалась жизнь верующих, должны были обладать ясностью. Соответственно, лингвистическая рефлексия славянских книжников была направлена в первую очередь на слова и формы, которые *два разѣма содержат*. Снятие омонимии было возможно двумя способами — орфографическим, основанным на дистрибуции графических элементов, и грамматическим, предполагавшим включение в состав средств выражения неомонимичных формантов. При этом книжники соотносили разные способы снятия омонимии с разными видами оморфемности: в рамках именного словоизменения числовая омонимия снималась по преимуществу орфографическими средствами, а падежная омонимия — грамматическими средствами.

Особое внимание славянские книжники уделяли омонимии по числу, поскольку в грамматико-риторической традиции классических языков неперенным признаком «правильности» языка считалось

«правильное обозначение множественного и единственного числа» [Аверинцев 1996: 385]. Основным графическим средством снятия числовой омонимии являлись дублетные буквы *o, e, ѡ / ѡ, Ѣ, оу* и *ь, н, а / њ, ы, ѡ* (после непарных *t* и *t'*), которые наделялись смыслоразличительными функциями, т.е. книжники разѡмѣли единство и множественность писменами. Использование данного орфографического способа для разрешения числовой омонимии было мотивировано ориентацией на греческую модель, в рамках которой буквы *o / ω* маркировали формы единственного и множественного числа [Успенский 2002: 326–328]. Экстраполирование данного принципа дифференциации грамматических омонимов на славянский материал привело к расширению состава противопоставленных букв и к расширению возможностей их употребления, поскольку славянские книжники реализовали дистрибуцию не только во флексиях, но и в основах, особенно при невозможности дистрибуции во флексиях. Однако, несмотря на расширение состава и расширение условий реализации дублетных букв, использование их в качестве «числовых» показателей не могло привести к последовательной и единообразной дифференциации форм. По этой причине славянские книжники пытались использовать и другие графические средства: надстрочные знаки (оксия или вария//камора), а также строчные и прописные буквы. Такая конкурентная демонстрация разных дифференцирующих графических средств представлена в трактате *Книга гл҃мага гр҃матика по ѡзыкъ словѣнскѣ*, автор которого, представляя процесс словоизменения как изменение последней буквы слова, возражал против употребления Зизанием дублетных букв не в абсолютном конце слова и предлагал снимать любую грамматическую омонимию оппозицией конечных строчных и прописных букв: *Лаврѣнѣтїи зизанїи въ началѣ своѣмъ грамматичѣ въкратѣ ѡбъѡвн разлїчїе множественныхъ ѡ единственныхъ писменъ, ѡноѣмъ крѣпкѣмъ ѡ троерѡбїи... но оуѡво тако достоитѣ писати, ѡдѣже случитѣсѡ ѡнъ въ концѣ рѣчѣ, ѡ не въ срединѣ... Всакоѣмъ бѡ рѣчѣ ѡ имене падѣнїе ѡ склонѣнїе послѣднее писмо наричетѣсѡ... наѣмъ словѣноѣмъ не тоѡкмо ѡнъ разлїчен лицеѣмъ потребеѣ, но ѡ всѣмъ ѡи, гласныхъ писмена двоѡбразна трѣбѣ прижажати. ѡбъѡвленїа раѡ ѡднѣственаго ѡ множественнаго разѡма во ѡменоѣ же ѡ рѣчѣ... Іѡже двоѡбразнаѣ лица се ѡсть. ѡ ѡ, ѡ Ѣ. ѡ И. ѡ І. ѡ о ѡ. ѡ оуѣ. ѡ Ъ. ѡ ы Ъ. ѡ Ь. ѡ Ѧ [Кгг: л. 3–4]. Несмотря на то, что такое «двообразное» написание являлось универсальным средством снятия числовой омонимии, оно не было распространено. При невозможности последовательного устранения числовой омонимии орфографическим способом книжники использовали в качестве дополнительного способа грамматический способ.*

Разные условия и, соответственно, разные пути снятия числовой омонимии представлены в омонимичных рядах **Т. ед. = Д. мн. и И. ед. = Р. мн.** имен м. р. на *t*.

В ряду **Т. ед. = Д. мн.** все книжники использовали только орфографический способ, поскольку флексия *-омъ* позволяла последовательно и единообразно снимать омонимию противопоставлением букв *o / ш*. Отсутствие флексии *-амъ* свидетельствовало об избыточности в позиции **Д. мн.** грамматических средств для снятия омонимии, а отнюдь не о «консервативности дат. мн.» и не об «отсутствии стремления избавиться от омонимии» (ср.: [Живов 2004: 355]).

-омъ / -шмъ

ГЗ: *во́гомъ / вѣгѡмъ*, *чѣкомъ / чѣкѡмъ*, *снѣгомъ / снѣгѡмъ* (л. 26 об.–27 об.),
 ГС 1619 = Г 1648 = Г 1721: *Клеврѣто^м / клеврѣтѡмъ*, *іармѡмъ / іармѡмъ*,
во́номъ / во́ннѡмъ, *дрѣгомъ / дрѣгѡмъ*, *прорѡкомъ / прорѡкѡмъ*,
грѣхѡмъ / грѣхѡмъ, *сно^мъ / снѡмъ*, *сно́вѡмъ*, *до́момъ / до́мѡмъ*
 [ГС: л. 43–58, Г 1648: л. 105–118 об.; Г 1721: л. 39 об.–53 об.],

ГА: *чѣко^м / чѣкѡмъ*, *дрѣго^м / дрѣгѡмъ* (л. 39 об.),

ГПх: *вѣгомъ / вѣгѡмъ*, *сосѣдомъ / сосѣдѡмъ* (с. 120–121).

В ряду **И. ед. = Р. мн.** книжники предлагали разные способы и разные средства снятия омонимии, поскольку омонимичная флексия *-ъ* (нулевая флексия) не давала возможности использовать оппозицию дублетных букв в окончании.

Зизаний устранил омонимию орфографическим и грамматическим способом, вводя в **Р. мн.** на правах вариантов неомонимичную флексию *-шъ* и омонимичную флексию *-ъ*, при наличии которой в основах реализовалась оппозиция букв *o / ш*.

(o)-ъ / -шъ, (и)-ъ

Бо́гъ / бѣгѡсѣ, вѡгъ, Чѣкъ / чѣкѡшъ, чѡшѣкъ, Снѣгъ / снѣгѡсѣ, снѣгъ
 (л. 26 об.–27 об.).

Смотрицкий также снимал омонимию орфографическим и грамматическим способом, однако он ограничивал сферу реализации грамматических средств, расширял состав дифференцирующих графических средств и вводил принцип дифференциации флексий. Характер флексий в **Р. мн.** был мотивирован структурой слова: для односложных имен на правах вариантов вводились флексии *-шъ* и *-ъ*, а для многосложных имен нормативной являлась только флексия *-ъ*. При наличии флек-

сии *-ъ* у односложных имен омонимия последовательно снималась противопоставлением надстрочных знаков и возможным противопоставлением букв *o / w* в основе, у многосложных имен омонимичность компенсировалась возможным противопоставлением не только букв *o / w*, но и букв *ε / ѐ* в основе. Московские книжники Рогов и Наседка воспроизвели эту схему снятия омонимии в грамматике 1648 г.

(*ó*)-ъ / *-wъ*, (*^*, *ŵ*)-ъ (односложные сущ.)

дрѣгъ / дрѣгwвъ, ѿнѣ дрѣгъ, грѣхъ / грѣхwвъ ѿнѣ грѣхъ, снѣ / сѣнѣ
ѿнѣ сынwвъ, дѣмъ / дѣmwвъ ѿнѣ дѣмъ (ГС: л. 46–47 об., 50–50 об.,
57 об.–58; Г 1648: л. 109–109 об., 110–110 об., 114–114 об., 118–118 об.),

(*o*)-ъ / (*w*)-ъ, (*e*)-ъ / (*ě*)-ъ (многосложные сущ.)

ѿродъ / ѿрѣдъ, прорѣкъ / прорѣкъ (ГС: л. 44 об.–47; Г 1648: л. 107–
109 об.),

клеврѣтъ / клеврѣтъ, ѿрѣмъ / ѿрѣмъ, ѡтѣцъ / ѡтѣцъ, чвѣнецъ /
чвѣнѣцъ (ГС: л. 43–44, 48–48 об., Г 1648: л. 105–106 об., 110–111 об.).

Автор анонимной грамматики использовал только орфографический способ, признавая нормативной флексию *-ъ*, при которой омонимия устранялась возможным противопоставлением в основе не только букв *o / w*, но и букв *γ / ѣ*.

(*γ*)-ъ / (*ѣ*)-ъ

дрѣгъ / дрѣгъ (л. 39 об.).

Поликарпов, наоборот, расширял сферу реализации грамматического способа снятия омонимии и предлагал в своих лингвистических сочинениях разные возможности использования грамматических средств. Так, в *Художестве грамматическом* характер флексий был мотивирован грамматическими особенностями имен, при этом пересекались уровень формантов и уровень грамматической категории одушевленности/неодушевленности: в Р. мн. одушевленные имена получали только флексию *-wъ*, а неодушевленные допускали вариативность флексий *-wъ*, *-ъ*. В грамматике 1721 г. Поликарпов следовал Зизанию, а не Смотрицкому, допуская вариативность флексий *-wъ*, *-ъ* для всех имен мужского рода.

ГПх:

-ъ / *-wъ* (одушевленные сущ.)

Бгъ / Бгwвъ (Бнѣ, оцъ, снѣ, дхъ, Инѣ, Хрѣтѣ, Прѣкъ, ѡрѣтъ и
всѣ прѣчая ѡдушевленные имена, Члкъ, вѣннѣ, дрѣгъ, и прѣчая);

(о)-ъ / -овъ, (у)-ъ (неодушевленные сущ.)

...примѣръ вездѣшныѣ вещей... сосѣдъ / сосѣдвѣ, сосѣдѣ (с. 120–121).

Г 1721 (? = ГЗ):

(о, е)-ъ / -овъ, (ш, ѣ)-ъ

юродъ / юродвѣ, юродѣ, воинъ / воинвѣ, воинѣ, пророкъ / пророквѣ,
прорѣкъ (л. 40–41 об., 43 об.); клеветѣтъ / клеветѣтъ, тиѣ (л. 39 об.–40).

Для решения проблем падежной омонимии основным являлся грамматический способ, поскольку сама категория падежа осмыслялась как смена формантов. Снятие омонимии достигалось посредством включения в состав средств выражения неомонимичных флексий, которые вступали с омонимичными флексиями в отношения вариативности или дистрибуции, или становились инвариантами.

Разные возможности преодоления падежной омонимии представлены в омонимичном ряду **В. мн. = Т. мн.** имен м. р. на т.

Зизаний в **Т. мн.** не просто допускал наряду с флексией **-и** флексию **-ами**, а представлял разные схемы отношений флексий, за которыми просматривалась сложная лексико-грамматическая оппозиция «сакральность//профанность: одушевленность/неодушевленность» = **-и: -и, -ами / -ами, -и** (ср. [Живов 2004: 355]).

-и = -и

бвгѣ — бвгѣ (? сакральная лексика)

-и / -и, -ами (? одушевленные сущ.)

чѣлѣ / чѣлки, чѣлками

-и / -ами, -и (? неодушевленные сущ.)

снѣги / снѣгами, снѣгѣ (л. 27–27 об.)

Смотрицкий для большинства имен м. р. предлагал в **Т. мн.** вариативность флексий **-ами, -ы (-и)**, для односложного существительного **домъ** флексия **-ами** выступала как инвариант, а для существительных с неравносложной основой нормативной признавалась омонимичная флексия **-ы**. Схема распределения флексий, представленная Смотрицким, была воспроизведена в грамматике 1648 г.

-ы (-и) / -ами, -ы (-и)

клеветѣты / клеветѣтами и клеветѣты, ѳармы / ѳармами, и ѳармы, воины / воинами, и воины, дрѣги / дрѣгами и дрѣги, пророки / пророками,

проро́ки, грѣхѣи / грѣхѣами и грѣхѣи, отцы / отцѣами, отцы, сыны, и
снѣвы / снѣи и снѣами,

-ы / -ами

дѣмы / дѣмаами

-ы = -ы

Римла́ны — Римла́ны [ГС: л. 43–57 об., Г 1648: л. 105–118 об.; Г 1721:
л. 39 об.–53 об.),

Автор анонимной грамматики снимал падежную омонимию посредством введения флексии *-ами* как единственного нормативного форманта.

-ы (-и) / -ами

члци / члаками, дрѣги / дрѣгаами (л. 39 об.)

Поликарпов в трактате *Хѣдѣжество грамматическое* предлагал схемы соотношения флексий *-ы (-и)*, *-ами*, напоминающие схемы Зизания: одушевленные имена, включая сакральную лексику, получали две флективные модели — варианты *-ы (-и)*, *-ами* или инвариант *-и*, неодушевленные получали варианты *-ами*, *-ы (-и)* (ср. [Живов 2004: 360]). В грамматике 1721 г. Поликарпов воспроизвел схему Смотричкого и распространил принцип вариативности на существительные с неравносложной основой.

ГПх (? = ГЗ):

-ы (-и) / -ы (-и), -ами, или -и (одушевленные сущ.)

Бги / Бги, Бгаами, или Бги (Бнице, оцѣ, снѣ, дѣхѣ, Инѣ, Хрѣтѣ, Прѣокѣ, брѣстѣ и вся прѣчая ѡдушевленныѣ имена, Члкъ, вѣннѣ, дрѣгѣ, и прѣчая),

-ы (-и) / -ами, -ы (-и) (неодушевленные сущ.)

...примѣръ бѣздѣшныѣ вещьѣи... сосѣды / сосѣдаами илѣ сосѣды (с. 120–121),

Г 1721 = Г 1648 +

(+ Римла́ны / Римла́наами, Римла́ны — л. 49 об.).

2.1.2. Проблема синонимии. Формальная избыточность могла быть производной, возникающей при снятии омонимии грамматическим способом, или непроизводной, обусловленной наличием стандартных и нестандартных флексий. Книжники не проявляли единства взглядов

в отношении производной избыточности: одни предлагали унификацию флексий, а другие допускали вариативность или дифференциацию флексий.

Разное отношение к формальной избыточности и разные схемы распределения синонимичных флексий представлены в грамматической позиции **И. мн.** имен м.р. на т'.

Зизаний в **И. мн.** для имен на т' допускал вариативность флексий **-и**, **-ѣ**: *кѡни* и *кѡнѣ* (л. 34 об.).

Смотрицкий стремился сохранить все возможные синонимичные форманты и представлял в **И. мн.** сложную схему дифференциации и вариативности флексий, мотивированную структурой слова. Для большинства имен с основой на т' нормой являлась вариативность флексий **-іе**, **-е**, а для ряда односложных имен вариативность увеличивалась посредством флексии **-еве**.

-іе, **-е**

пáстыріе, *пáстыре*; *мáтѣжіе*, *мáтѣже*; *свѣдѣтеліе*, *свѣдѣтеле* (л. 63 об.–65),

-іе, **-е**, **-еве** (ряд односложных сущ.)

...именà /'ѣдносложнаѣ изрáднѣ, растворáема вы́ги ѡбрѣтáемъ... *врáчіе*, *врáче*, *илѣ врáчеве* (л. 72–72 об.).

Автор анонимной грамматики, наоборот, предлагал в **И. мн.** для всех имен с основой на т' только флексию **-іе**: *црїе* (л. 40 об.).

Московские книжники Рогов и Наседка внесли изменения в схему, предложенную Смотрицким, посредством увеличения зоны и характера вариативности флексий: в **И. мн.** стандартная флексия **-и**, представленная Смотрицким только у имен с основой на т, была распространена на имена с основой на т'. Для разных лексем с основой на т' предлагалась либо вариативность флексий **-іе**, **-и**, либо вариативность флексий **-іе**, **-е**, а для односложных имен допускалась вариативность флексий **-іе**, **-и**, **-еве**.

-іе, **-и**, **-іе**, **-е**

пáстыріе, *пáстыри*; *мáтѣжіе*, *мáтѣже*, *свѣдѣтеліе*, *свѣдѣтеле* (л. 122–125),

-іе, **-и**, **-еве** (ряд односложных сущ.)

врáчіе, *врáчи*, *илѣ врáчеве* (л. 131–131 об.).

Поликарпов в своих лингвистических сочинениях пытался найти компромисс между схемами, предложенными в грамматиках 1619 г.

и 1648 г. В *Художестве грамматическом* для большинства имен с основой на t' допускалась только вариативность флексий *-іѣ*, *-и*, а в грамматике 1721 г. только вариативность флексий *-іѣ*, *-ѣ*.

ГПх : *-іѣ*, *-и*
цѣіѣ, ѡнѣ цѣи (с. 124),

Г 1721: *-іѣ*, *-ѣ*
пѣстырѣіѣ, пѣстырѣ; мѣтѣіѣіѣ, мѣтѣіѣ; свѣдѣтѣіѣіѣ, свѣдѣтѣіѣ (л. 61–64).

2.1.3. Проблемы омонимии или синонимии. Особую формальную сложность представляли полинормативные позиции выбора, в которых совмещались проблемы омонимии и синонимии, в силу чего книжники должны были решать ту проблему, которая являлась для них наиболее важной. Такой полинормативной позицией являлась позиция *Д. ед.*

Зизаний и автор анонимной грамматики уделяли особое внимание числовой омонимии, учитывая не только необходимость противопоставления форм ед. и мн. числа, но и необходимость противопоставления форм ед. и дв. числа. Для этих книжников значимым стал омонимичный ряд *Д. ед. = Р. (П) дв.*, в котором они снимали омонимию посредством дифференциации дублетных букв *-ѣ*, *(-ѣ)* / *-оѣ* и *-ѣ* / *-ѣ*.

ГЗ: *Д. ед. // Р. дв.: -ѣ*, *(-ѣ)* / *-оѣ*
бѣѣ, ѡнѣ ѣ / бѣоѣ, чѣѣѣ / чѣѣоѣ, снѣѣѣѣ / снѣѣѣоѣ (л. 26 об.–27).

ГА: *Д. ед. // Р. дв.: -ѣ* / *-ѣ*
дрѣѣѣѣ / дрѣѣѣѣ (л. 39 об.).

Для Смотрицкого важным было только противопоставление форм ед. и мн. числа, поэтому его лингвистическая мысль оказалась направленной в этой позиции на решение проблем падежной омонимии и синонимии. Для большинства имен Смотрицкий представлял только флексию *-ѣ*, для односложных имен с вариантными парадигмами во мн. числе он, соответственно, допускал варианты *-ѣ*, *-ови* (*-ѣви*). Для лексемы *домъ* вариативность флексий *-ѣ*, *-ови* (*-ѣви*) была мотивирована необходимостью снять омонимию в ряду *Д. ед. = Р., З. ед.*, поскольку для этой лексемы в *Р. ед.* и *З. ед.* нормативной признавалась нестандартная флексия *-ѣ*. Данная схема распределения флексий была воспроизведена в грамматике 1648 г.

Д. ед.: - ъ

Клевѣръ, іармѣ, вѣнѣ, іѣродѣ, дрѣгѣ, прорѣкъ, грѣхѣ, ѡтцѣ, чванѣцѣ
[ГС: л. 43–48 об., Г1648: л. 105–111 об.],

Д. ед.: - ъ, -ови / -еви

...ізраїлѣ ѣдинослѣжноа растворѣтисѣ моцнѣ... сынѣ илѣ снѣви, жерцѣ
и лѣ жерцѣви [ГС: л. 50–50 об., Г 1648: л. 113–113 об.],

Д. ед. // Р. ед., З. ед.: - ъ, -ови / -ѣ

дѣмѣ илѣ дѣмови / дѣмѣ [ГС: л. 57 об.; Г 1648: л. 118].

Поликарпов в *Хѣдѣжествѣ грамматическом* решал в этой позиции формальные и формально-семантические проблемы, соединяя проблему синонимии с проблемой объема реализации категории одушевленности/неодушевленности: одушевленные имена допускали вариативность флексий - ъ, -ови, а неодушевленные получали только флексию - ѣ. В грамматике 1721 г. Поликарпов воспроизвел схему, представленную в грамматике Смотрицкого и в грамматике 1648 г.

ГПх:

Д. ед.: - ъ, -ови (одушевленные сущ.)

Бѣѣ илѣ Бѣгови (Снѣце, оцѣ, снѣ, дѣхѣ, Іисѣ, Хрѣтѣѣ, Прѣрокѣ, ѣрестѣ и
вѣя прѣчая ѡдѣшевленныѣ имена, Члѣкѣ, вѣнѣ, дрѣгѣ, и прѣчая),

Д. ед.: - ѣ (неодушевленные сущ.)

сосѣдѣ... примѣръ вѣдѣшныѣ вѣщѣй... (с. 120–121).

2.2. Функционально и генетически мотивированные нормы

2.2.1. Проблема омонимии. Лингвистическая рефлексия Крижанича, сформированная в культурно-языковом пространстве *Slavia Latina*, была направлена на достижение не только «правильности», но также «чистоты» и «понятности» языка, который назывался им *рѣскинь кнѣйжннѣ језѣк*. «Правильность» языка требовала снятия омонимии и синонимии, «чистота» требовала устранения греческого и особенно польского влияния, поскольку в польском языке половина *ричѣ јест ѡт ѣннѣх рѣзнѣтнѣх језѣков примѣшѣна* [КГИ: III], а «понятность» языка диктовала необходимость устранения неупотребительных элементов, в силу чего нормативные элементы получали генетические и функциональные характеристики [Запольская 2003: 97–139, 183–212].

В отличие от юго-западнорусских и московских книжников, использовавших орфографический и грамматический способы снятия чи-

словой омонимии, Крижанич применял только грамматический способ, поскольку орфографический способ воспринимался им как результат недопустимого влияния греческого языка: ...у^ста^виша пра^вило, да въ јединичних падежѣх пишется е да о, а во множинних Ѣ да в... Аво^вѣм у Греков очивѣста јест потреба и причѣна... ра^злично во јест провлечѣње гласа, оно кратко, оно долго. У нас пак тѣе разности нѣтъ, въ так^ових мѣстѣх. А къ том^у јеще питаем: чѣм^у невелѣят во множинних падежѣх пот^омже писат великого А, да великого И?.. пра^вило то јест бездѣлно и писмо постаѣт неслич^{но} [КОБ.: 12]. При невозможности снятия омонимии средствами, отвечавшими требованиям «чистоты» и употребительности, омонимия признавалась нормой.

В омонимичном ряду Т. ед. = Д. мн. имен м. р. Крижанич, не признавая орфографических приемов снятия омонимии, приводил омонимичную флексию *-ом* как единственно возможный нормативный элемент, поддержанный хорватским языком.

-ом

Противник Вножинних творѣтсе једнак съ Орѣдником јединичним: кт̄, против *Братом* [КГИ: 15].

В омонимичном ряду И. ед. = Р. мн., с позиции Крижанича как носителя хорватского языка, представлявшего флексию *-ов* как стандартную, а флексию *-ъ* (нулевую флексию) как нестандартную, именно флексия *-ов* должна была стать нормативным инвариантом.

(-ъ) / *-ов*

Смотрѣцки чинѣт сѣь прѣгѣв јменникѣ јединичномѣ сподобен... А от ник^оих чинѣт двѣ кончинѣ... Вса јмена липо и пра^вилно се творѣт на ОВ... По Херватскѣ... все ѣдет пра^вилно на ОВ... А въ јних в^но^гих јменѣх, опрѣч пра^вилного творѣнѣя на ОВ (ко^је јест обѣчно льѣдем племенѣтим, и чистѣе бесѣди брѣгѣщим) по дрѣгом об^личѣ творѣтсе сѣь прѣгѣв сподобен јменникѣ јединичномѣ... [КГИ: 13, 14].

Для снятия падежной омонимии в ряду В. мн. = Т. мн., по мнению Крижанича, не могла использоваться флексия *-ами*, поскольку она рассматривалась как результат влияния польского языка. В хорватском языке стандартной являлась флексия *-ми*, а нестандартной флексия *-и*, при которой омонимия снималась посредством разницы ударения, в силу этого Крижанич также отдал предпочтение флексии *-ми*, имевшей поддержку и в церковнославянском языке у существительных с основой на т'.

-и / -ми

Нѣмци и Жидови јесѹт Ѹ Лѣхов нѣш језик мѣрзко сказѣли, а Билорѹсѣјани сѹт того скажѣнѣя вного зѣвзели: и на сем мѣстѸ чинѣт нестерпен прѣврат, жеже ѡв прѣгѣв творѣт на АМИ... [КГИ: 16].

2.2.2. Проблема синонимии. Формальная избыточность снималась Крижаничем посредством унификации стандартных употребительных флексий.

В И. мн. имен м. р. на т' Крижанич признал флексию -и единственной нормой:

А по избѣткѹ, и по припрѡбѡтом изрѡкѹ, двојесклѣдни јменнѣи прѣминьѣѹтсе... на ѢѢ. А јније кончѣни, на ЈѢ и на Ѣ, јесѹт зголѣ сказни и мѣрзки... [КГИ: 10–11].

В полинормативной позиции Д. ед. Крижанич актуализировал проблему синонимии и решал ее посредством унификации стандартной флексии -ѹ:

Ѣв прѣгѣв јмѣјет двѣ кончѣни, једнѹ на ѹ, а дрѹгѹ на ѢѢ... Алн Херѡати николѣж неѹживѣѹт тојѣ кончѣни на ѢѢ: и за кмѣтскѹ јѹ почитѣѹт [КГИ: 9, 10].

Таким образом, при выработке формационных норм церковнославянского языка книжники по-разному оценивали языковые элементы и предпочитали разные процедуры выбора — унификацию (анонимный автор и Крижанич), вариативность (Зизаний), дифференциацию, обусловленную структурой слова (Смотрицкий) или грамматическими параметрами слова (Поликарпов). Соответственно, следует отказаться от традиционного представления о доминировании процедуры вариативности книжных//некнижных (старых//новых) языковых элементов.

3.0. Делимитативные нормы церковнославянского языка XVI–XVIII вв.

3.1. Идеосемантические нормы. В пространстве христианской культуры идеосемантические нормы являлись результатом процесса «христианизации» языка [Топоров 1995: 429], процесса наложения на буквальные смыслы смыслов сакральных. На грамматическом уровне «христианизация» языка проявлялась в идеосемантической спецификации грамматических вариантов, т. е. в характеристике вариантов в рамках оппозиции «сакральное//профанное». Сакральную субграмматику формировали имена и глаголы, правильное понимание лексической и грамматической семантики которых определяло правильное

понимание основных богословских положений. Доминирующий в христианской культуре вопрос о возможности познания человеком Бога определил значимость вопроса именуемости Бога, соответственно, в этом познавательном контексте лингвистическая рефлексия была направлена на раскрытие, сохранение и трансляцию идеосемантики собственных библейских имен [Запольская 2007: 133–150].

В центре внимания книжников было имя *Иисус*, лингвистическая рефлексия над которым предполагала выявление идеосемантики и особого характера употребления этого имени применительно к Богу Сыну по сравнению с другими лицами Библии, т. е. решение проблемы тезоименности. Согласно богословскому толкованию, имя *Иисус* становится именем Бога только будучи наделено особой семантикой, поскольку многие носят имя *Иисус*, но один *Спаситель всех* — *Иисус Христос*. Смотрицкий, рассматривая имя *Иисус* только как пречестное $\text{х}^{\text{с}}\text{а}$ $\text{Г}^{\text{с}}\text{да}$ и $\text{м}\text{а}$, решал проблему тезоименности на уровне формантов, приводя нормативную парадигму, маркером которой являлись флексии в Д. ед. Имя *Иисус* получало в Д. ед. помимо стандартной флексии $-\text{Ѹ}$ нестандартную флексию $-\text{овн}$ и оказывалось грамматически соположено существительному $\text{Г}^{\text{с}}\text{дѣ}$, имевшему нестандартную флексию $-\text{евн}$, и тем самым противопоставлено всем остальным многосложным существительным мужского рода, имевшим только нормативную флексию $-\text{Ѹ}$: ИисѸс / пречестное $\text{х}^{\text{с}}\text{а}$ $\text{Г}^{\text{с}}\text{да}$ и $\text{м}\text{а}$ ѿвогда скланѣтсѧ правилнѣ, $\text{Г}^{\text{с}}$, $\text{Г}^{\text{с}}\text{а}$, $\text{Г}^{\text{с}}\text{Ѹ}$ или $\text{Г}^{\text{с}}\text{овн}$, $\text{Г}^{\text{с}}\text{а}$, $\text{Г}^{\text{с}}\text{е}$, $\text{Г}^{\text{с}}\text{омѣ}$, и $\text{Г}^{\text{с}}\text{ѣ}$ [ГС: л. 56 об.]. В составе именной формулы *Иисус Христос* имя *Иисус* могло не склоняться, что подчеркивало нераздельность номинативной единицы, выражающей суть христианства: спѣсительномѸ и имени $\text{х}^{\text{с}}$, припрѣжено превываѣтѣ ѿ и ногда нескланѣмо : ѿ к в И м е : $\text{Г}^{\text{с}}$ $\text{х}^{\text{с}}$, Ро а : $\text{Г}^{\text{с}}$ $\text{х}^{\text{а}}$, Да т : $\text{Г}^{\text{с}}$ $\text{х}^{\text{Ѹ}}$, Вн н : $\text{Г}^{\text{с}}$ $\text{х}^{\text{а}}$, Зва т : ѿ $\text{Г}^{\text{с}}$ $\text{х}^{\text{е}}$, Тво р : $\text{Г}^{\text{с}}$ $\text{х}^{\text{омѣ}}$, Г ка з : и $\text{Г}^{\text{с}}$ $\text{х}^{\text{ѣ}}$ [Там же].

Идеосемантическую нагруженность получало и существительное *Слово*, когда обозначало Бога Сына, т. е. приобретало функцию имени собственного. Согласно богословскому толкованию, Бог Сын называется *Словом* потому, что относится к Отцу, как слово к уму, не только по бесстрастному рождению, но и по соединению с Отцом и потому что являет Его. Соответственно, лингвистическая рефлексия была направлена на проблему формальной дифференциации имени собственного и имени нарицательного. Славянские книжники использовали для регламентации употребления *Слова* как имени собственного и *слова* как имени нарицательного грамматические параметры — варианты парадигмы и особые флексии. Так, собственное имя получало формы косвенных падежей без форманта $-\text{ес}$, а нарицательное имя

употреблялось в косвенных падежах с формантом *-ес-* [Успенский 2002: 38]. В грамматических позициях *В. ед.* и *З. ед.*, в которых происходила нейтрализация парадигм, поскольку употреблялись только формы без *-ес-*, допускалось расширение состава нормативных формантов.

Смотрицкий представлял для лексемы «слово» нормативную парадигму ед. числа с формантом *-ес-*, однако сопровождал ее примечанием, в котором предлагал особое правило склонения имени собственного: в *В. ед.* наряду с флексией *-о* допускалась флексия *-а*, в *З. ед.* наряду с флексией *-о* допускалась флексия *-е*. При этом Смотрицкий толковал флексии *-а*, *-е* как показатели мужского рода, что позволяло, во-первых, рассматривать *Слово* в одном грамматическом ряду с именами *Гѣдь / Бѣгъ / Ъцъ / Бнѣ / Дхъ* ♂: *Тѣ / хъ / Бпѣ* и, во-вторых, демонстрировать грамматическое тождество греческого и церковнославянского языков. Тот же состав флексий и то же толкование были представлены в грамматике 1648 г.:

ГС = Г 1648: словесѡ, слѡво; словесѣ, словесѣи, слѡво, слѡво, словесѣмъ, словесѣи.

*Слѡво: ѣгда превѣчное Бѣга Ъца Слѡво знаменѣтъ/ винительный ѣ звателный сѣгдѣ приѣлетѣ, сѣ естъ сѣдѣна рѡда ѣ мѡжеска/ Слѡво ѣ Слѡва: Слѡво/ ѣ Слѡве [ГС: л. 52 об.–53].

Автор анонимной грамматики представлял без объяснения для лексемы «слово» варианты парадигмы ед. числа, т. е. без форманта *-ес-* и с формантом *-ес-*, при этом в *В. ед.* он приводил только флексию *-о*, а в *З. ед.* только флексию *-е*, выделяя тем самым форму молитвенного обращения к Богу:

ГА: слово; слова, словесе; словѣ, словеси; слово; слѡве, словомъ, словесемъ; словѣ, словеси (л. 39).

Поликарпов в *Художестве грамматическом* также допускал для лексемы «слово» варианты парадигмы ед. числа, однако сопровождал парадигмы особым примечанием. В отличие от Смотрицкого Поликарпов представлял для имени собственного только особые флексии в *В. ед.* и *З. ед.*, т. е. флексии *-а* и *-е*, которые он толковал как показатели одушевленности, что также позволяло рассматривать *Слово* в одном грамматическом ряду с именами существительными *Гѣдь / Бѣгъ / Ъцъ / Бнѣ / Дхъ* ♂: *Тѣ / хъ / Бпѣ*, однако указывало уже на грамматическую особенность церковнославянского языка по сравнению с

греческим языком. В грамматике 1721 г. он воспроизвел примечание Смотрицкого:

ГПх: слово; слова, словесе; словѣ, словеси; слово; слово; словомъ; словѣ, словеси.

*Слово, егда превѣчное Бга оца слово знаменуетъ, винительный, и звательный, образомъ идивеленныхъ полагается, ѿкъ тогѡ слова, ѡ словѣ (с. 122).

Таким образом, грамматические позиции Д. ед. и В. ед., З. ед. для имен м.р. являлись нормативными перекрестками, в которых происходило идеосемантическое расширение норм, задававшее в грамматических формах «имплицитное богословие».

3.2. Идеофункциональные нормы. Секуляризация культуры, проявившаяся сначала в Юго-Западной Руси, а затем и в Московской Руси, выразилась в расширении функций церковнославянского языка, который должен был уже обслуживать не только книжные тексты, выполнявшие догматические задачи, но и литературные тексты, выполнявшие задачи эстетические. В такой секуляризованной перспективе рефлексия оказывалась направленной на достижение «украшенности» языка. Актуальным приемом «украшенности» являлись поэтические вольности, поскольку в виршевой поэзии, составлявшей основу литературы XVI–XVII вв., книжнику было важно учесть все многообразие параллельных вариантов, чтобы, заменяя их, укладываться в нужный размер по числу слогов. Учение о поэтических вольностях, разработанное в риториках и грамматиках классических языков, стало составной частью и грамматики Смотрицкого. Система поэтических вольностей включала версификационные варианты, основанные на прибавлении/убавлении буквы или слога в начале/середине/конце слова: Страсть реченіи/ѣсть реченіи измѣна/мѣры ради Стіхотворны вываема. Страсти сѣть сѣгѣбы. Извѣліа, и Скѣдсти [ГС: л. 249]. В набор поэтических вольностей включались и неравносложные грамматические варианты.

Так, отношения между вариантными формами имен м. р. в И. мн. с флексиями *-ѣ* и *-евѣ* рассматривались как пример «прибавления» слога в конце слова: Припáтїѣ/ѣсть слóга ѥ концї реченїа приложенїе: ѿкъ... вѣраче, в мѣстѡ вѣраче [ГС: л. 251].

Отношения между вариантными формами имен м. р. в Р. мн. с флексиями *-ъ* и *-ивъ* рассматривались как пример «убавления» слога из середины слова, при этом буква *-ъ* рассматривалась как носи-

тель слога: *Отисненіе* ѣсть слога ѝ среди реченіа изложеніе: *ѣкѡ чєловѣкъ, в мѣстѡ члѣвѣкиѡвѣ* [ГС: л. 250]. Полные и краткие формы прилагательных и причастий демонстрировали в Им. ед. «убавление» слога в конце слова: *Оустѣченіе* ѣсть слога ѣ концѣ реченіа *Ѡрѣшеніе: ѣкѡ/ чнстѣ, в мѣстѡ чнстыи, бѣющѣ, в мѣстѡ бѣющѣи...* [Там же: л. 251].

Таким образом, грамматические позиции **И. мн.** и **Р. мн.** для имен м.р. также являлись нормативными перекрестками, поскольку представленные в них нормативные форманты «еще раз подверглись регламентации путем вступления в силу определенных эстетических правил» [Ляхман 2001: 12].

4.0. Декларативное и процедурное знание норм церковнославянского языка. Грамматические сочинения, кодифицировавшие церковнославянский язык, задавали как декларативное, так и процедурное знание норм.

Декларативное представление норм отвечало на вопрос, что является нормой. При этом книжники использовали три методических приема демонстрации нормативных элементов: «системный» прием — фиксация нормативного элемента в парадигме, «атомарный» прием — толкование нормативного элемента в отдельном правиле, *давы ѿ простѣйшии^м вѣдомо выло* [КГб: л. 23], «иллюстративный» прием — приведение примера употребления нормативного элемента в библейском или литургическом тексте, т. е. *на полехѣ воображенѣ е* ѣ кѡей книзѣ каа рѣчь обрѣтае^тса* [Там же: л. 24]. Такую подачу нормативных элементов представляют грамматика Зизания и соотнесенные с ней московские грамматические трактаты: формы **И. ед.** и **Р. мн.**, в которых разными орфографическими средствами решается проблема омонимии, в грамматике даются в составе парадигмы, в трактате *Книга глѣмата въквы* эти формы фиксируются как отдельная оппозиция, а в трактате *Книга глѣмата гр^мматѣка* приводится стих псалма, в котором употреблена форма **Р. мн.**

ГЗ: *Кѡнь, конѣ, конѣ, конѣви, ѿ конѣи, конѣмъ, конѣ, кѡню; Кѡни, н кѡнѣ, кѡнь, ѿ кѡнѣи, кѡнемъ, ѿ кѡнехъ, кѡни, кѡнѣ, кѡни, ѿ кѡнѣи, кѡнѣ* (л. 34–34 об.),

КГб: *Любѣтель нашѣ — любѣтель нашихъ, ловѣтель нѣѣ — ловѣтель нѣи^х* (л. 39 об.) (над именами указаны падежи **пр.** или **в.–р.**),

КГг: *На сѣдалици гдѣтель не сѣде — Ъ ѡлѣ^м, ѧ* (л. 4).

Процедурное представление норм отвечало на вопрос, как употреблять нормативные элементы. Книжники задавали образец грамматического изменения слова в рамках императивных текстов — молитв, тропарей, кондаков, определяющих повседневную молитвенную и литургическую жизнь верующих. Так, в грамматике 1648 г. был помещен образец склонения слова *апѡстолъ* в составе тропаря и дана рекомендация просклонять подобным способом имена ср. и ж. р.: *Симъ образѡмъ пиши наклонѣнїа падѣжей ѿ въ жѣнскомъ родѣ, ѿ срѣднѣмъ* [Г 1648: л. 375 об.]. Методической репликой явились опыты склонения в составе тропарей слов *апѡстолъ*, *чудо*, *дѣа* и *мѣща*, представленные в рукописном сборнике XVII в. (ГИМ, Син. 850). В позициях выбора печатные и рукописные упражнения совпадали и расходились, демонстрируя единство и различие нормализаторских взглядов: в Д. мн. в печатном и рукописном упражнениях приведена флексия *-шиъ*, в Р. мн. в печатном упражнении дана только флексия *-ъ*, а в рукописном представлена вариативность флексий *-авъ*, *-ъ*, в Т. мн. в печатном упражнении предпочтение отдано флексии *-амн*, а в рукописном варианте флексии *-ы*, однако в собственном имени, являющемся приложением, даются две флексии: *-ы*, *-амн*.

тропарь. гла҃ г҃ прѣвагѡ клонѣнїа единственнаго числа

Апѣлъ стѣй фїлїппъ, мѡлїтъ мїлостиваго б҃га, да грѣхѡмъ ѡставленїе подастъ дшамъ нашѣмъ

роднагѡ клонѣнїа множественнаго числа

*апѡстолъ, ѿнѣ апѡстолѡвъ (*Г 1648: только апѣлъ) стѣмъ молѣщїхсѧ мѣтївомѡ б҃гѡ, пѣмѧ прѣзднѣюще мѡлїмъ полѣчїти Ѡ б҃га грѣхѡвъ ѡставленїе.*

творїтелнагѡ клонѣнїа единственнаго числа

апѣломъ стѣмъ фїлїппѡмъ молѣщїмсѧ мѣтївомѡ б҃гѡ. Ѡ всѧкїхъ свѣлъ ѿзбѣвленъ въх ѿ мѣтѡмї егѡ сохрѣненъ.

дѣтелнагѡ клонѣнїа множественнаго числа

апѣлѡмъ стѣмъ молѣщїмсѧ мїлостивомѡ б҃гѡ мѡлїмсѧ, да грѣхѡвъ ѡставленїе ѿспросѧ дшамъ нашѣмъ.

внѡвнагѡ клонѣнїа множественнаго числа

Апѡстолѡ стѣмъ, молѣщїмсѧ ѿ прѣдстоѧщїмъ мїлостивомѡ б҃гѡ прославляемъ, да ѿспросѧ оу негѡ намъ, грѣхѡвъ ѡставленїе.

творительнаго клоненія множественнаго числа

Апѣлы (*Г 1648: *Апѣлами*) съими филиппы или филиппами, молющима милостивомъ вѣѣ, молимъ и мы того, да подастъ на^м грѣхѣмъ наши^м прощѣнїе.

[ГИМ, Син. 850: л. 534 об.–535 об., 536, Г 1648: л. 375–375 об.].

5.0. Нормы церковнославянского языка > нормы русского литературного языка. Осуществлявшийся в XVIII в. переход от конфессиональной культуры к секулярной мотивировал создание нового типа литературного языка, ориентированного на разговорный язык, что определило *креативный характер* лингвистической рефлексии. Дистанция между церковнославянским и русским языком, разговорным и/или литературным, осмыслялась, прежде всего, как дистанция формально-семантическая, т. е. дистанция на уровне грамматических категорий. Так, Поликарпов в трактате *Технологіа...* 1725 г. представлял отличия «великороссийского» языка от «словенского» как отличия в характере грамматических категорий одушевленности/неодушевленности, числа и падежа: *ѣ числѣ множественно^м живущи^х вещей, не такъ винителенъ ѣкъ родителенъ вываѣтъ во ѣпотребленїи, двойственное число не ѣпотребляе^тся, звѣтелный всѣхъ склоненїи числа единствен. подобенъ именителном^у вываѣ^т* [ГП: 288]. Если формально-семантические параметры нового литературного языка были определены однозначно, то выявление формальных параметров, обеспечивающих и «понятность», и «правильность» языка, требовало особого напряжения лингвистической мысли. Установка на «понятность» определяла рассмотрение языковых элементов как книжных/некнижных, а установка на «правильность» требовала рассмотрения этих же элементов с точки зрения пригодности для снятия синонимии и омонимии. В рамках секулярной культуры актуализировалась проблема синонимии, от решения которой зависело решение проблемы омонимии, при этом в новых условиях омонимия должна была устраняться только грамматическим способом. Нормализаторская рефлексия над русским языком получила последовательное выражение в грамматических сочинениях И.-В. Пауса («Anweisung zur Erlernung der Slavonisch-Russischen Sprache», 1729 г.), М. Шванвитца («Compendium Grammaticae Russicae», 1731 г.) и В. Е. Адодурова («Anfangs-Grunde der Russischen Sprache», 1731 г.), возникших как альтернирующие реплики на грамматики церковнославянского языка. Конкурирующий характер самих первых русских грамматик определялся тем, что Паус хотел систематизировать языковые вари-

анты внутри единого «славяно-русского языка», а Шванвиц и Адодуров стремились создать «русский литературно-языковой стандарт» [Живов 2004: 368–214]. Наиболее отчетливо установки первых кодификаторов проявлялись в грамматических позициях **И. мн.**, **Р. мн.**, **Д. мн.** и **Т. мн.** имен м. р., в которых решались и проблемы синонимии, и проблемы омонимии. В **И. мн.** у имен с основой на т' грамматисты снимали синонимию, вводя инвариант **-и**, соотносенный с инвариантом **-ы**, введенным у имен с основой на т. В **Д. мн.** флексия **-имъ**, демонстрировавшая снятие омонимии орфографическим способом и уже тем самым являвшаяся книжной флексией, определялась Паусом как «славянская» флексия, которой соответствовала «русская» флексия **-амь**, демонстрирующая снятие омонимии грамматическим способом; соответственно, Шванвиц и Адодуров флексию **-амь** считали нормативным инвариантом. Грамматическая позиция **Р. мн.** давала возможность и в рамках русского языка допускать два нормативных элемента — флексию **-овъ** как стандартную и флексию **-ь** (нулевую флексию) как нестандартную, закрепленную за отдельными лексемами. В позиции **Т. мн.** проявлялась разница нормализаторских взглядов: Паус допускал вариативность флексий **-ами**, **-ы**, а Шванвиц и Адодуров признавали нормой флексию **-ами** (см. парадигмы в: [Шванвиц 1731: 191–192; Адодуров 1731: 18–21; ср.: Живов 2004: 368–379]).

Слова с сакральной идеосемантикой сохраняли и в русском литературном языке грамматическую особость, которая в новых грамматических условиях реализовалась в позиции **3. ед.** Так, Адодуров в примечании к парадигме имен м. р. не только отмечал возможность склоняемости/несклоняемости имени *Иисус* в формуле *Иисус Христос*, но и указывал на несовпадение форм **И. ед.** и **3. ед.**: *Иисусь Христость* и *Иисусе Христе* [Адодуров 1731: 20].

Развитие в этот период поэтических литературных жанров особо остро поставило вопрос об «умении подчинять требованиям метрики грамматически оформленное слово» [Винокур 1959: 127], т. е. актуализировало необходимость создания системы поэтических вольностей, возможных в стихах на русском языке. Перед книжниками стояла дилемма: либо учитывать систему поэтических вольностей, заданную церковнославянской традицией, либо отказаться от предшествующего опыта использования неравносложных морфологических вариантов. Первую возможность реализовал Кантемир, заявив в «Письме Харитона Макентина к приятелю о сложении стихов русских», что «все сокращения речей, которые славенской язык узаконяет, можно понужде смело принять в стихах русских» [Кантемир 1744: 27]. При этом

Кантемир отнюдь не «формулировал общий закон вольностей», согласно которому в русские стихи допускались любые неравносложные «славянизмы» (ср.: [Винокур 1959: 128]), а отсылал к двум видам поэтических вольностей — *стиснѣнію* и *оустьчѣнію*. Ключом к такой отсылке являлись примеры «сокращений», совпадающие с примерами *стиснѣнія* и *оустьчѣнія* в грамматике Смотрицкого: ...*стиснѣніе... чело-вѣкъ, в мѣстѣ члѣвѣкивъ... оустьчѣніе... чистѣ, в мѣстѣ чистый* = «изрядно употребляется *человѣкъ, чистѣ вместо челоуѣковъ, чистый*» [Кантемир 1742: 22]. Инновацией, включенной в систему поэтических вольностей, Кантемир считал форму *Т. мн.* с флексией *-ы / -и*: «Изрядно употребляются вместо творительнаго на *ами* сокращенное на *ы, и...*» [Там же]. ТрEDIAКОВСКИЙ в трактате «Новый и краткий способ сложения российских стихов» 1735 г. предложил новую систему поэтических вольностей, включив в нее формы существительных м. р. в *З. ед.* как показатели церковнославянского языка: «Многие звательные падежи, которые у нас все подобны именительным (кроме преблагословенных и превысоких сих имен: Боже, Господи, Иисусе Христе, Сыне, Слове, то есть воплощенное Слово) могут иногда в стихах образом славенских кончиться» [ТрEDIAКОВСКИЙ 1735: 18]. Однако позже ТрEDIAКОВСКИЙ характеризовал и формы *Р. мн.* и *Т. мн.* в терминах поэтических вольностей, а отнюдь не в терминах, отражающих общие представления о механизмах формопроизводства [ср. Живов 2004: 376–379]. Он отступал от традиции только в том, что считал форму *Р. мн.* в соответствии с реальным произношением результатом «усечения», а не «стиснения»: «Сие *усечение*, или *стиснение* бывает наибольшее в родительных и творительных падежах, множественнаго числа. Например, целый падеж есть родительный множественный: *человѣковъ*, усекается сим образом: *человѣкъ*, и целый же множественный творительный *человѣками*, стисняется так: *человѣки*» [ТрEDIAКОВСКИЙ 1849, III: 50].

Таким образом, рефлексия над новым литературным языком приводила не просто к замене книжных элементов некнижными, а являла собой сложный процесс, включавший смену формационных и делимитативных норм (*И. мн.*, *Д. мн.*), переход формационных норм в делимитативные, т. е. сдвиг норм (*Т. мн.*, *З. ед.*), а также некоторую преэмульсивность формационных и делимитативных норм (*Р. мн.*).

ЛИТЕРАТУРА

Аверинцев 1996 — Аверинцев С. С. Риторика и истоки европейской литературной традиции, М., 1996.

- Адолуров 1731 — [Адолуров В Е] *Anfangs-Grunde der Russischen Sprache // Weismanns Petersburger Lexikon von 1731 Grammatischer Anhang* München, 1983
- Бахтин 1986 — *Бахтин М М Эстетика словесного творчества* М, 1986
- Винокур 1959 — *Винокур Г О Избранные работы по русскому языку* М, 1959
- Грамматика 1648 — *Грамматика 1648 г*
- Грамматика 1721 — *Грамматика 1721 г*
- Грамматический сборник 2002 — *Грамматический сборник 1620 г / Издание и исследование Е А Кузьминовой Napoli, 2002*
- Дианова 1989 — *Дианова Т В Филигрань «кувшин» XVII в М, 1989*
- Едличка 1988 — *Едличка А Литературный язык в современной коммуникации Типы норм языковой коммуникации // Новое в зарубежной лингвистике Выпуск XX М, 1988 С 38–134, 135–149*
- Живов 2004 — *Живов В М Очерки исторической морфологии русского языка XVII–XVIII веков М, 2004*
- Запольская 2003 — *Запольская Н Н «Общий» славянский литературный язык типология лингвистической рефлексии М, 2003*
- Запольская 2007 — *Запольская Н Н Рефлексия над именами собственными в пространстве и времени культуры // Имя Семантическая аура М, 2007 С 137–150*
- Зизаний 1596 — *Зизаний Л Грамматика словенска. Съвършенна искѣства ѿ семи частій слова и иныхъ нуждныѣ. Новѣ съставлена А.З. В Вилни, 1596 (репринт Лавренти Зизаний Грамматика словенська Киѡв, 1980)*
- Кантемир 1744 — [Кантемир А] *Квинта Горация Флакка десять писем первой книги Переведены с латинских стихов на русские и с примечаниями изъяснены от знатнаго некотораго охотника до стихотворства с приобщенным при том письмом о сложеннии русских стихов СПб, 1744*
- Крижанич 1859 — *Грамматично изказанје оѡ рускомъ језику, поѡпа Јурка Крижанѡца / Издание О М Бодянского М, 1859 (репринт То же / Abdruck der Erstausgabe von 1848/1859 besorgt von Gerd Fneidhof Frankfurt am Main, 1976)*
- Крижанич 1891 — *Објаснѣнје вѡвѡдно о писмѣ Словѣнском // Крижанѡц Ю Собрание сочинений М, 1891 Т 1*
- Лахман 2001 — *Лахман Р Демонтаж красноречия Риторическая традиция и понятие поэтического СПб, 2001*
- Поликарпов 2000 — *Поликарпов Федор Технолѡгѡа. Искусство грамматики / Издание и исследование Е Бабаевой СПб, 2000*
- Смотрицкий 1619 — *Грамматѡки Славѣнскѡи правѡльное Сѡнтагма Мелетѡи Смотрицкоѡв. В Сѡе. 1619 (репринт Мелетѡи Смотрицѡкий Грамматика Киѡв, 1979)*

- Топоров 1995 — *Топоров В Н Святость и святы́е в русской духовной культуре*. Т. 1. Первый век христианства на Руси. М., 1995.
- Третьяковский 1735 — *Третьяковский В К Новый и краткий способ к сложению российских стихов с определениями до сего подлежащих знаний*. СПб., 1735.
- Третьяковский 1849 — *Третьяковский В К Сочинения*. СПб., 1849. Т. I–III.
- Успенский 2002 — *Успенский Б А История русского литературного языка*. М., 2002.
- Шванвигц 1731 — *Compendium Grammaticae Russicae (1731). Die erste Akademie-Grammatik der russischen Sprache / Herausgegeben von Helmut Keipert in Verbindung mit Andrea Hutereer*. München, 2002.